

ОДИН



*9 апреля 1995 года
Побережье Орегона*

Если я чему и научилась за свою долгую жизнь, то именно этому: любовь показывает нас такими, какими мы хотим быть, а война показывает нас такими, какие мы есть. Нынешние молодые хотят знать все обо всех. Они думают, что, разговаривая о проблемах, смогут их разрешить. Но я из поколения не столь бойкого. Мы знаем, как важно забывать и порой поддаваться искушению начать все заново.

Впрочем, в последнее время я все же вспоминаю и о войне, и своем прошлом, и о людях, которых потеряла.

Потеряла.

Звучит так, словно я обронила своих любимых невест где, оставила их в каком-то случайном месте и по глупости не сумела отыскать.

Нет, они вовсе не потеряны. Они просто ушли. И сейчас в лучшем мире. Я живу уже долго и знаю, что такая заноза, как тоска, проникает в нашу ДНК и становится частью нашего естества.

После смерти мужа я вдруг начала стремительно стареть, а новость о диагнозе только ускорила этот процесс. Кожа моя сморщилась и сделалась будто использованная воценная бумага, которую пытались разгладить, чтобы еще раз пустить в дело. И зрение все чаще подводит — в темноте, при свете фар, во время дождя. Эта новая ненадежность мира лишает меня присутствия духа. Наверное, потому я и оглядываюсь чаще в прошлое. Там я нахожу ту ясность, которой лишилось для меня настоящее.

Хочется верить, что, уйдя, я обрету мир, встречу всех, кого любила и потеряла. По крайней мере, меня простят.

Но себя не обмануть, верно?

Мой дом, названный лесным магнатом, что построил его больше сотни лет назад, «Пики», выставлен на продажу. Я готовлюсь к переезду, потому что мой сын считает, что так правильно.

Он старается заботиться обо мне, показать, как сильно меня любит в эти трудные времена, и я мирюсь с его стремлением всем руководить. Какая разница, где умирать? Вот уж проблема, право. И какая разница, где доживать? Упаковываю свою орегонскую жизнь; на этом берегу я осела почти полвека назад. Немногое хочется забрать с собой. Но есть одна вещь.

Тяну ручку складной чердачной лестницы. Лестница спускается с потолка, раскрывая ступеньки одну за другой, будто джентльмен, любезно протягивающий руку.

Хлипкие ступеньки прогибаются под ногами, пока я медленно взбираюсь на чердак, пахнущий затхлостью. С потолка свисает единственная лампочка. Поворачиваю выключатель.

Это как оказаться в трюме старого парохода. Деревянные дощатые стены; паутина серебром окутывает углы, клубками собираясь в щелях между досками. Потолок такой низкий, что в полный рост я могу выпрямиться только в самом центре чердака.

Кресло-качалка, которым я пользовалась, когда внуки были маленькими, старая детская кроватка, ободранная лощадка-качалка на заржавевших пружинах и кресло, что дочь отреставрировала, уже заболел. Вдоль стены выстроились подписанные коробки: «Рождество», «День благодарения», «Пасха», «Хэллоуин», «Спорт». Там вещи, которые мне больше не пригодятся, но с которыми я не в силах расстаться. Не могу я признать, что больше не наряжать мне рождественскую елку, — это все равно что сдать, а этого я никогда не умела. Нужно мне обнаруживается в дальнем углу: старый кофр, облепленный дорожными наклейками.

С трудом выволакиваю тяжелый кофр на середину, прямо под свет лампочки. Опускаюсь на колени, но боль в суставах вынуждает перекатиться на ягодицы.

Впервые за тридцать лет приподнимаю крышку. Верхнее отделение набито детскими мелочами: крошечные пинетки, песочные формочки, карандашные рисунки — сплошь человечки и улыбающиеся солнышки, — школьные табели, фотографии детских праздников.

Осторожно вынимаю верхнее отделение и откладываю в сторону.

На дне кофра свалены в беспорядке реликвии: несколько выцветших блокнотов в кожаных переплетках; стопка старых открыток, перевязанная голубой атласной ленточкой; помятая с одного угла картонная коробочка; несколько тоненьких книжечек со стихами Жюльена Россиньоля; обувная коробка с кучей черно-белых фотографий.

А сверху — пожелтевший лист бумаги.

Руки дрожат, когда я решаюсь взять его. Это *carte d'identité*, удостоверение личности военного времени. Долго смотрю на крошечное фото молодой женщины. *Juliette Gervaise*.

— Мама?

Сын поднимается по скрипучим ступеням, шаги звучат в такт биению моего сердца. Наверное, уже не первый раз меня окликает.

— Мама! Не надо тебе сюда забираться. О черт, лестница ненадежная. — Он останавливается рядом. — Споткнешься ненароком и...

Чуть похлопываю его по ноге, качаю головой, не в силах взглянуть на него.

— Присядь, — шепчу.

Он опускается на колено, потом садится рядом. От него пахнет лосьоном после бритья, тонким и пряным, и еще немножко табаком — курил потихоньку на улице. Он бросил много лет назад, но вновь начал, узнав о моем диагнозе. У меня нет оснований ворчать: он врач, ему лучше знать.

Первым побуждением было сунуть бумагу в кофр и поскорее захлопнуть крышку. С глаз долой. Именно так я поступала всю жизнь.

Но сейчас я умираю. Может, и не так быстро, но и не чересчур медленно, и чувствую, что должна все же спокойно взглянуть на прожитые годы.

— Ты плачешь, мам.

— Разве?

Хочу рассказать ему правду, но не выходит. И меня смущает собственная робость. В моем возрасте уже можно ничего не бояться — уж точно не собственного прошлого.

Но меня хватает только сказать:

— Я хочу забрать этот кофр.

— Он слишком большой. Я переложу вещи в коробку поменьше.

Я ласково улыбаюсь его желанию опекать меня.

— Я люблю тебя, и я больна, поэтому позволяю тебе помыкать мною. Но пока я жива. И хочу забрать этот кофр.

— Ты уверена, что тебе действительно необходима вся эта ерунда? Это ведь только наши рисунки и прочий хлам.

Если бы давным-давно я рассказала ему правду, если бы позволяла себе больше петь, пить и танцевать, может, он и сумел бы разглядеть в своей беспомощной скучной матери *меня*. Он любит несколько неполную версию. А ведь именно этого мне всегда хотелось: чтобы меня не только любили, но и восхищались мной. И наверное, мне хотелось бы всеобщего признания.

— Считаю это моей последней просьбой.

Он явно рвется возразить, мол, чтобы я не говорила так, но боится, что голос дрогнет.

— Ты уже дважды справлялась, — откашлявшись, наконец выдавливает сын. — И справишься сейчас.

Мы оба знаем, что это неправда. Я слишком слаба. Только благодаря нынешней медицине я могу пока спокойно спать и нормально есть.

— Ну конечно.

— Я просто забочусь о тебе.

Я улыбаюсь. Американцы такие наивные.

Когда-то давно я разделяла его оптимизм. Считала мир безопасным местом. Но очень давно.

— Кто такая Жюльет Жервэ? — спрашивает Жюльен, и я вздрагиваю.

Прикрываю глаза. В темноте, пахнувшей плесенью и прошлым, память принимается переворачивать листки календаря, тянется сквозь годы и континенты. Против воли — а может, именно согласно ей, кто знает? — я вспоминаю.

ДВА

Свет погас над Европой.

И никогда больше в нашей жизни мы не увидели его.

Сэр Эдвард Грей, о Первой мировой войне

Август 1939-го

Франция

Вианна Мориак вышла из холодной кухни во двор. Чудное летнее утро в долине Луары, все цветет. Белые простыни на веревке хлопают под порывами ветра, розовые кусты лхнут к старой каменной ограде, укрывающей уютный уголок от посторонних глаз. Пара трудолюбивых пчел озабоченно жужжит среди цветов; издалека доносится пыхтение паровоза, а затем заливистый девчоночий смех.

Софи.

Вианна улыбнулась. Восьмилетняя дочь, наверное, бегаёт по дому, непрерывно теребя отца, который покорно бросает дела, чтобы стать участником ее забав, — это они так собираются на субботний пикник.

— Твоя дочь — настоящий тиран. — В дверях возник улыбающийся Антуан, аккуратно причесанные волосы блестят на солнце.

Все утро он работал: шлифовал новый стул, и без того гладкий, как атлас, и тонкий слой древесной пыли припудрил его лицо и плечи. Антуан крупный, высокий, плечистый, на круглых щеках пробивается темная щетина.

Он обнял ее, притянул ближе:

— Люблю тебя, Ви.

— И я тебя.

И это самая абсолютная истина в ее мире. Она любит в этом мужчине все: как он улыбается, как бормочет во сне, как смеется, чихнув, как поет в душе оперные арии.

Она влюбилась в него пятнадцать лет назад, на школьном дворе, раньше, чем узнала, что такое любовь. Он стал ее первым всем — первый поцелуй, первая любовь, первый любовник. До встречи с ним она была худой, неловкой и нервной девчонкой, начинавшей заикаться при малейшем испуге, а пугалась она частенько.

Сиротка, выросшая без матери.

— *Теперь ты взрослая,* — сказал отец, когда они впервые пришли в этот дом.

Ей было четырнадцать, глаза распухли от слез, горе невыносимо. В одно мгновение дом из уютного семейного гнездышка обратился в тюрьму. Мама угаšla в две недели, а папа отказался быть папой. Входя с ней в дом, он не держал ее за руку, не обнимал за плечи, даже не протянул платок, чтобы утереть слезы.

— *Н-но я же еще маленькая,* — пролепетала она.

— *Уже нет.*

Она опустила глаза на сестру. Изабель всего четыре, она безмятежно сосала палец и понятия не имела, что произошло. Только все спрашивала, когда же мама вернется.

Дверь отворилась, высокая худая дама с носом, похожим на водопроводный кран, и темными глазами-изюминами недовольно буркнула с порога:

— *Вот эти девицы?*

Папа кивнул:

— *Они не доставят вам хлопот.*

Все случилось слишком быстро. Вианна не успела понять, что происходит. Отец сдал своих дочерей, как грязное белье в стирку, оставил их с чужим человеком. Разница в возрасте между девочками была так велика, что они словно и родными не были. Вианна хотела утешить Изабель — во всяком случае, старалась, — но сама так страдала, что не в силах была думать о ком-то, кроме себя, особенно если речь шла о таком своевольном, капризном и шумном ребенке, как Изабель. Вианна до сих пор помнила первые дни здесь: Изабель визжит, Мадам ее шлепает. Вианна вступалась за сестренку,

раз за разом умоляла: «Господи, Изабель, прекрати верещать. Просто делай, что велено». Но даже в свои четыре Изабель была неуправляема.

Вианна была полностью раздавлена — утратой матери, предательством отца, внезапным изменением всей жизни, — да в придачу еще вечно липнущая Изабель, которой тоже нужна мама.

Спас ее Антуан. В то лето после смерти мамы они стали неразлучны. В нем Вианна обрела опору и убежище. В шестнадцать она уже была беременна, в семнадцать вышла замуж и стала хозяйкой Ле Жарден. Два месяца спустя у нее случился выкидыш и она вновь впала в депрессию. Погрузилась в горе и закуклилась в нем, не в силах заботиться о чем-то и ком-либо — уж точно не о вечно ноющей семилетней сестре.

Но все это в прошлом. В такой чудесный день, как сегодня, не хочется вспоминать о печальном.

Она прильнула к мужу, дочка подбежала к ним, радостно объявила:

— Я готова, идем!

— Что ж, — улыбнулся Антуан, — раз принцесса готова, мы должны поторапливаться.

Улыбка не сходила с лица Вианны все время, пока она бегала в дом за шляпкой. Соломенная блондинка с фарфорово-белой кожей и небесно-голубыми глазами, она всегда пряталась от солнца. Когда она пристроила наконец широкополую шляпу, отыскала перчатки и подхватила корзинку для пикника, Софи с Антуаном уже были за воротами.

Вианна выбежала следом. Грунтовая тропа достаточно широка даже для автомобиля, а дальше расстились акры и акры зеленых лугов в брызгах красных маков и голубых васильков. Кое-где небольшие рощицы. В этой части долины Луары преобладали луга, а не виноградники. Меньше двух часов на поезде от Парижа, а будто совсем другой мир. Сюда почти не заглядывали отдыхающие, даже летом.

Время от времени, конечно, мимо прорычит автомобиль или проедет велосипедист или телега, но по большей части дорога пуста. Они живут примерно в миле от Карриво, городка с населением в тысячу душ, известного исключительно тем, что здесь останавливалась Жанна д'Арк. В городишке

нет никакой промышленности, а значит, и никакой работы — разве только на аэродроме, гордости Карриво. Аэродром этот — единственный на всю округу.

В самом городке узкие булыжные улочки петляют между старинными домами, тесно лепящимися друг к другу. Из древней кладки сыплется штукатурка, плющ скрывает следы разрушения, но дух угасания и упадка, невидимый глазу, пронизывает здесь все. Деревня строилась и разрасталась долго и неторопливо — кривые улочки, неровные ступени, тупички, — сотни лет. Каменный фон немного оживляют яркие акценты: красные маркизы в рамах из черного металла, чугунные балконные решетки, цветы герани в терракотовых горшках. Глазу было на чем задержаться: витрина с пирожными, грубо плетенные корзины с сыром, окороками и *saucisson**, ящики с яркими помидорами, баклажанами и огурцами. В этот солнечный денек во всех кафе битком. Мужчины пили кофе, курили самокрутки и громко что-то обсуждали.

Обычный день в Карриво. Мсье Ла Шо подметает тротуар перед своей *saladerie***, мадам Клоне моет окно шляпной мастерской, группа подростков шляется по улицам — мальчишки пинают невесть где найденную жестянку и курят одну сигарету на всех, передавая друг другу.

На окраине города они свернули к реке. Выбрав удобную полянку на берегу, Вианна расстелила одеяло в тени каштана, достала из корзинки хрустящий багет, клин жирного сливочного сыра, пару яблок, несколько ломтиков байонской ветчины и бутылку «Боллинджера» 36-го года. Наполнив бокал шампанским, присела рядом с мужем. Софи радостно скакала по берегу.

День прошел словно в теплой умиротворяющей дымке. Они болтали, смеялись, закусывали. И лишь далеко за полдень, когда Софи убежала подальше с удочкой, Антуан, плетя для дочери венок из маргариток, произнес:

— Скоро Гитлер втянет нас всех в свою войну.

Война. О ней судачили все вокруг, но Вианна не желала ничего слышать. Особенно в такой прекрасный день.

* Колбаса (*фр.*).

** Кафетерий (*фр.*).

Приложив ладонь ко лбу, она присматривала за дочерью. Земли на другом берегу Луары были аккуратно возделаны. На мили вокруг никаких заборов и изгородей, только зеленые поля с редкими деревьями да разбросанными кое-где сарайчиками. Крошечные облачка пуха парили в воздухе.

Поднявшись на ноги, она громко хлопнула в ладоши:

— Софи, пора домой!

— Невозможно делать вид, что ничего не происходит, Вианна.

— Я что, должна готовиться к неприятностям? Но ты же здесь и сможешь позаботиться о нас.

С улыбкой (возможно, чересчур ослепительной) она собрала в корзинку остатки пикника, и семейство двинулось в обратный путь.

Меньше чем через полчаса они уже стояли у крепких деревянных ворот Ле Жарден, старинного дома, в течение трех столетий бывшего родовым гнездом ее семьи. Двухэтажный особняк, окрашенный временем в десяток оттенков серого цвета, смотрел в сад голубыми ставнями окон. Плющ вползал по стенам до самых водостоков, сплошным покровом окутывая кирпич. От прежних владений осталось всего семь акров, прочие двести были распроданы за двести лет, пока благосостояние рода постепенно угасало. Вианне вполне хватало и семи. Она и не представляла, к чему ей больше.

Над плитой в кухне медные и чугунные сковородки и кастрюли, с потолочных балок свисают пучки лаванды, розмарина и тимьяна. Медная раковина, позеленевшая от времени, такая большая, что в ней запросто можно купать собаку.

Там и сям облупившаяся штукатурка обнажает прошлое этого дома. Гостиная — сплошная эклектика: обитые гобеленовой тканью диваны, обюссонские ковры, китайский фарфор, индийский набивной ситец. На стенах картины, иные просто великолепны — возможно, даже знаменитых художников, другие — откровенная мазня. Все вместе выглядит бессмысленной мешаниной, собранной в одном месте, — старомодный вкус и бессистемное швыряние денег на ветер. Немножко потрепанно, но в целом уютно.

В гостиной Вианна задержалась, глядя через застекленные двери, как в саду Антуан качает Софи на качелях, кото-

рые сам для нее смастерил. Потом аккуратно повесила шляпку, неторопливо повязала фартук. Пока Софи с Антуаном резвились во дворе, она занялась ужином: обернула ломтиками бекона свиную вырезку, перевязала нитью, подрумянила в оливковом масле. Свинина томилась в духовке, а Вианна приготовила остальное. Ровно в восемь она позвала семью к столу. И радостно улыбалась, слушая топот двух пар ног, оживленную болтовню, скрип стульев.

Муж с дочерью устроились на своих местах. Софи уселась во главе стола, в том самом венке из маргариток, что сплел для нее Антуан.

Вианна внесла блюдо, источающее аппетитные запахи: запеченная свинина и хрустящий бекон, яблоки, глазированные в винном соусе, все это — на подушке печеного картофеля. Рядом миска с зеленым горошком в масле, приправленном эстрагоном из сада. И разумеется, багет, который Вианна испекла еще вчера утром.

Софи, как всегда, тархтела без умолку. В этом смысле она вылитая тетушка Изабель — совершенно не умеет держать язык за зубами.

Блаженная тишина наступила, только когда перешли к десерту — *île flottante*, островки румяной меренги, плавающие в английском креме.

— Что ж, — Вианна отодвинула свою тарелку с едва начатым десертом, — займемся посудой.

— Ну, мам... — начала было недовольно Софи.

— Прекратить ныть, — скомандовал Антуан. — Ты уже большая девочка.

И Вианна с Софи направились в кухню, где каждая заняла свое место — Вианна у медной раковины, а Софи у каменного стола. Мать мыла посуду, а дочь вытирала. По всему дому разносился аромат традиционной послеобеденной сигареты Антуана.

— Папа сегодня ни разу не засмеялся над моими рассказами, — пожаловалась Софи, когда Вианна расставляла тарелки на деревянных полках. — С ним что-то не так.

— Не смеялся? О, определенно это *настоящая* причина для тревоги.

— Он переживает из-за войны.

Война. Опять эта война.

Вианна отправила дочь наверх, в спальню. Присев на краешек кровати, она слушала бесконечную трескотню Софи, пока та натягивала пижаму, чистила зубы и укладывалась в постель.

Наклонилась поцеловать малышку на ночь.

— Я боюсь, — шепнула Софи. — Вдруг правда начнется война?

— Не бойся. Папа защитит нас. — Но в тот же миг вспомнила, как ее мама говорила ей то же самое. *Не бойся.*

Когда ее папа уходил на войну.

Софи явно не поверила:

— Но...

— Никаких «но». Не о чем беспокоиться. А сейчас пора спать. — Она еще раз поцеловала дочь, чуть дольше прижимаясь губами к пухлой детской щечке.

Вианна спустилась вниз, вышла во двор. Душно, в воздухе сильно пахнет жасмином. Антуан неловко пристроился на маленьком стуле, вытянув ноги.

Она подошла, тихо положила руку на его плечо. Он выпустил облачко дыма, вновь глубоко затанулся. Поднял взгляд на жену. В лунном свете лицо его казалось странно бледным, почти незнакомым. Он потянулся к жилетному карману, достал листок бумаги:

— Я получил повестку, Вианна. Как и все мужчины в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти.

— Повестку? Но... мы же не воюем. Я не...

— Должен явиться на призывной пункт во вторник.

— Но... но... ты же просто почтальон.

Он все смотрел на нее, и у Вианны внезапно перехватило дыхание.

— Похоже, теперь я просто солдат.